

Театр политического кризиса: заговор как «предмет веры»

Андрей Игнатьев

Кандидат философских наук, доцент, преподаватель
Российского государственного гуманитарного университета
Адрес: Миусская площадь, д. 6, ГСП-3, Москва, Российская Федерация 125993
Email: ignatievs@yandex.ru

В статье предложена интерпретация различного сорта «теорий заговора» как особого рода фрейма или парадигмы дискурса, предполагающих трактовку долговременных социетальных или даже глобальных трендов как следствий заговора, направленного на передачу власти его инициаторам. Показано, что всякая «теория заговора» предполагает весьма специфическую разметку социального пространства, которую можно рассматривать как частное приложение так называемой «театральной метафоры», только уже не к интеракции в частной сфере (как у основоположников этого подхода), а к ситуациям публичного осуществления власти. В развитие этого тезиса высказана и обоснована гипотеза, согласно которой «теории заговора» становятся функциональными конструктами в ситуациях кризиса так называемой представительной демократии, обеспечивая легитимацию политического режима, перспективу совладания с кризисом, а также инициацию субъектов эффективного политического действия. Сделан вывод, что «теории заговора» характерны скорее для обществ позднего modernity с их секуляризацией, общедоступной «публичной сферой», влиятельным медиа сообществом, кризисами репрезентации и «теневыми» практиками, нежели для контекстов политической архаики. Кроме того тоталитарные политические идеологии и режимы вполне можно рассматривать как дериваты «теорий заговора», т. е. проекцию этого специфического фрейма или парадигмы дискурса на реальные политические конфликты, возникающие в условиях социетального или глобального кризиса.

Ключевые слова: власть, дискурс, теория заговора, театральная метафора, представительная демократия, медиасфера, кризис

Начну со старого, еще советских времен, анекдота: «Сплю я, и снится мне, что я уснул на партийном собрании, просыпаюсь — а я и вправду уснул на партийном собрании». В пандан к этому анекдоту можно вспомнить максимум практического разума: «из того, что у вас мания преследования, вовсе не следует, что вам некого бояться реально», имеющую непосредственное отношение к феномену «теории заговора», попыткой исследования которого является данная статья.

Два коротких фольклорных текста, предпосланных основному содержанию статьи, являются вполне уместным и даже целесообразным введением в ее предмет: они наглядно экспонируют тот специфический перформативный контекст, в котором формируются и функционируют различные «теории заговора», акцентируя его важную особенность — принципиальную неразличимость реальности

© Игнатьев А. А., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

и психотического фантазма. Именно такой специфический контекст моделирует Шекспир в трагедии о Гамлете — истории молодого человека, попытавшегося выяснить, существовал ли на самом деле заговор, о котором ему сообщила Тень, или же это чей-то злокозненный вымысел. Ответа на свой вопрос заглавный герой трагедии так и не получил, более того — погиб именно оттого, что попытался это сделать¹. Это одна из сквозных тем как трагедий, так и комедий Шекспира — заговор как соблазн или провокация, которыми испытывают человека. Коррумпированные, слабые духом или зависимые (например, одержимые какой-нибудь «сверхценной» идеей) индивиды на соблазн «ведутся» и становятся жертвой (иногда даже первой и единственной) заговора, который предполагали использовать в своих интересах². Более того, этот заговор становится реальностью именно благодаря их собственным действиям. В сумеречной зоне, которая окружает любую популярную «теорию заговора», вопрос о его реальности лишен всякого смысла. Актуальным становится вопрос о прагматике соответствующих текстов, т. е. о той «разметке» социального пространства, которую они транслируют³, реальном перформативном контексте, в котором они возникают или циркулируют, а также о функциях, которые они выполняют.

* * *

Под заговором я подразумеваю всякий проект, направленный на передачу власти конкретному лицу или группе лиц и предусматривающий нарушение традиции или формального права, регулирующих акты передачи власти. Вследствие этого заговор осуществляется *undercover*, т. е. предусматривает эффективное уклонение от любых форм надзора и социального контроля. На практике в зависимости от локальной политической культуры это может быть и «аппаратная интрига», и военный переворот, и «заказное» убийство или уголовное преследование, и так называемая «охота на ведьм», т. е. кампания публичной травли, при помощи которой вынуждают принять решение об отставке. Заговор, о котором сообщают «теории заговора», тоже предполагает нелегитимный захват власти, подготовленный *undercover*. От своей канонической версии он отличается прежде всего тем, что практически никогда не становится свершившимся и доказанным историческим фактом, но так и остается перспективой, латентной угрозой или допустимой, но проблематичной гипотезой.

1. На это, в частности, обращает внимание Л.С. Выготский в своей знаменитой работе о психологии искусства (Выготский, 1962). Точно таким же фатальным развитием событий завершается и верификация заговора в романе Умберто Эко «Маятник Фуко».

2. Разница между жанрами для Шекспира состоит в том, что в комедиях жертвы заговора подвергаются осмеянию, тогда как в трагедиях их убивают.

3. О понятии «разметки» и о дихотомии «group/grid», или «группа/разметка», подробнее см.: Douglas, 1996. Термин «grid» я перевел бы как «сетка», по аналогии с «сеткой вещания», которая структурирует время.

Не буду останавливаться на истории возникновения, распространения и трансформации наиболее популярных «теорий заговора», которая исследована достаточно основательно (Леруа, 2001; Гудков, 2005; Биберштайн, 2010; Пятигорский, 2009; Walker, 2013), отмечу только один ее очень важный парадокс: сами по себе практики заговора стары как мир, это вечная «теневая» сторона практик власти, где власть — там не только насилие, как нас когда-то учили, но и заговоры самого разного уровня или формата (Политическая интрига., 2000). Тем не менее «теория заговора» как особого рода фрейм (Гофман, 2004; Баркет, 2007), априорная и универсальная парадигма дискурса — явление сравнительно новое, возникшее в середине XIX века. Именно тогда появляются конструкции, трактующие заговор как причину не отдельных конкретных политических событий, а долговременных социальных или даже глобальных трендов⁴, а кроме того, претендующие не столько на объяснение каких-то исторических фактов (это скорее их алиби), сколько на более или менее детальное предсказание будущего. В конечном итоге тоталитарные политические доктрины минувшего века, включая марксизм, нацизм или фашизм, — те же «теории заговора», только очень сложные и, как говорится, в особо крупных размерах.

Такого сорта притязания всякой «теории заговора» на предсказание будущего, которое *a priori* всегда предполагает доверие к источнику или технике конструирования соответствующих суждений⁵, отнюдь не являются основанием к тому, чтобы отбрасывать подобные интеллектуальные артефакты с порога: это характерная особенность не только «идеологий» или «утопий» в смысле К. Маннгейма, но и всяческих прикладных моделей системной динамики, инструментальная валидность которых не вызывает сомнений. Но если «теории заговора», во всяком случае, образцы жанра, которые наиболее основательно исследованы, — действительно фреймы или парадигмы дискурса, а не эмпирически корректные реконструкции исторических событий, то прежде всего стоит рассмотреть так называемое «определение ситуации», характерное для разных «теорий заговора», а вовсе не вопрос о реальности предполагаемого заговора как такового.

Начну с того, что любая «теория заговора» представляет собой сообщение о событиях, затрагивающих повседневный социальный порядок, более того, необратимо меняющих его самым неблагоприятным образом, т. е. экспонирует какую-то эсхатологическую перспективу. Далее, это сообщение (или извещение о нем) транслируется посредством общедоступных mass media или их субституттов (в наши дни это Интернет и социальные сети), адресовано аудитории, «массовой» в том смысле, что включает любого, кого это сообщение может касаться, и действительно является «теорией» в том чисто бытовом значении термина, что предлага-

4. Такие конструкции особенно часто встречаются в работах, представляющих «эзотерическую», или «окультурную» традицию. См.: Wilson, 1973.

5. Как известно, суждение о будущем нельзя ни верифицировать по факту исполнения прогноза, ни «фальсифицировать» в смысле К. Поппера, это всегда и неизбежно «предмет веры» или его экзегеза. См.: Агамбен, 2013.

ет правдоподобное объяснение событий, являющихся его эмпирическими референтами («экспланансом»). Тем не менее его специфическая риторика характерна скорее для маргинальных жанров дискурса, в том числе политического (Игнатъев, 1978), нежели для публикаций, содержание которых претендует на статус безусловно достоверного знания.

Такого рода события, т. е. известные и удостоверенные факты, составляющие «эмпирическую базу» сообщения о предполагаемом заговоре, представлены как следствие действий или бездействия акторов, которые обладают компетенцией и статусом, по крайней мере, номинально обеспечивающими им возможность контроля за состоянием повседневного социального порядка, и могут быть наблюдаемы на какой-то площадке с хорошо различимыми границами. Нередко эту площадку определяют как «сцена» или «политическая сцена», предполагая, таким образом, публичный характер действия или бездействия субъектов власти, т. е. возможность беспрепятственного наблюдения за ними каждому, кто составляет релевантную аудиторию. В действиях, направленных на поддержание (или изменение) повседневного социального порядка, эта аудитория не участвует и участвовать даже заведомо не может — как если бы между нею и «политической сценой» существовала невидимая, хорошо проницаемая для взгляда, но исключительно прочная, непреодолимая преграда, которая, например, отделяет витрину ювелирного магазина от прохожих, злоумышленников и зевак. В наши дни роль такой преграды обычно исполняют телеэкран или дисплей компьютера, благодаря которым мы наблюдаем за действиями или бездействием субъектов власти.

В общем случае любая «теория заговора» трактует действия, наблюдаемые на «политической сцене», как странные, непонятные или даже очевидно двусмысленные, чреватые какой-нибудь бытовой эсхатологией. Объяснением этой «непрозрачности» и потенциальной опасности, демонстрация которых составляет неперемнную особенность любой «теории заговора», обычно служит зависимость публичных субъектов власти от других акторов, действующих исключительно в частной сфере и оттого находящихся вне поля зрения аудитории. Данное обстоятельство (по большей части оно так и остается гипотезой) позволяет считать, что публичные субъекты власти — это чьи-то «марионетки», тогда как ситуацию в целом вполне можно рассматривать как нелегитимный и тайный отъем власти, т. е. заговор, уже состоявшийся или осуществляемый в настоящее время.

Наконец, инициаторы действий, совершаемых или не совершаемых публичными субъектами власти, а соответственно — промоутеры изменений в повседневном социальном порядке, на объяснение которых претендует «теория заговора», всегда спрятаны за какой-то преградой, которая не только исключает вмешательство в предвыборный кастинг, подкуп субъектов власти или их шантаж, подготовку к их устранению или другие действия, выходящие за границы легитимных политических ритуалов, но и делает их заведомо недоступными для наблюдения, исключая, таким образом, непосредственную верификацию гипотез о заговоре, его участниках и целях. Пространство, расположенное за такой преградой, обыч-

но именуют «закулисье политики». Согласно «теориям заговора», истинный суверен, «властелин мира» эзотериков и оккультистов предположительно находится где-то там.

Что же это за социальное пространство, в границах которого подобное «определение ситуации» сохраняет эмпирическую валидность? Очевидно, оно структурировано как театр: там есть площадка, на которой локализованы любые релевантные действия или события, она хорошо видна всем, кого эти действия или события касаются, более того, она так и названа — «сцена». За действиями субъектов политики на сцене или событиями, которые с ними связаны, наблюдает мультитюд зрителей, являющихся аудиторией «теории заговора». Политологи именуют его «электорат», но смена названия ничего не меняет. Это, однако, уже не театр как вид искусства и учреждение культуры, а гофмановский «театр повседневной жизни», в котором каждый человек — актер, поднимающийся на сцену в расчете на признание со стороны публики или хотя бы компетентных экспертов, зритель, наблюдающий за событиями на площадке, где все это происходит (те, кого называют «элита», и есть такие привилегированные зрители в ложах), рабочий сцены, а если повезет, то директор театра или его главный режиссер. Иными словами, любую «теорию заговора» вполне можно рассматривать как частное приложение «театральной метафоры», только уже не к face-to-face интеракции в частной сфере⁶, как у Ирвинга Гофмана, а к ситуациям публичного осуществления власти. Они тоже могут рассматриваться как диалектика притязаний индивида на статус или социальное амплуа и их вознаграждение непосредственным участием в митинге или демонстрации, голосами «за», финансовыми пожертвованиями, чисто символическими актами солидарности и поддержки или в других политически значимых формах⁷. Попросту говоря, заговоры, о которых сообщают «теории заговора», — это не реальность и не иллюзия, а чисто «постановочные», демонстрационные артефакты⁸, воплощающие личное представление их авторов о реальности, кстати, отнюдь не обязательно ложное.

Такие артефакты можно рассматривать в разных перспективах, например, конкретную «теорию заговора» — как следствие или свидетельство особого рода мотивации ее автора, связывая эту мотивацию с персональным хабитусом и условиями его формирования, в том числе с личными или социальными травмами, а также обусловленными ими аффектами. В такой перспективе любую «теорию

6. Перевод книги Гофмана «Presentation of Self in Everyday Life» на польский язык так и был назван: «Człowiek w teatrze życia codziennego». См.: Гофман, 2000.

7. Одна из примечательных публикаций, связанных с использованием «теории заговора» как аналитической парадигмы, называется «Триумф Мельпомены», т. е. музы театра, откуда родом и слово «теория». См.: Крючкова, 2013. В более общем плане о «театральной метафоре» как политаналитической эвристике см., например: Scott, 1990.

8. Слово «симулякр», с легкой руки Ж. Бодрийяра ставшее чуть ли не идиомой «образованной» повседневной речи, означает такой артефакт, не являющийся ни реальностью, ни иллюзией, но «рукотворной» конструкцией, воплощающей какие-то интересубъективные и потому узнаваемые «предметы веры». См.: Каррэр, 2008.

заговора» нетрудно представить как измышление маргиналов⁹, страдающих неврозом тревожности, разнообразными этническими, гендерными, возрастными, классовыми и контекстуальными фобиями или даже параноидальным расстройством. Точно так же публикацию «теории заговора» всегда можно рассматривать как перформанс, назначение которого — привлекать и удерживать публику, т. е. «делать сборы», как прежде говаривали на театре. У авторов, создавших классические образцы жанра, этот мотив присутствовал в явном виде, в его перспективе любую «теорию заговора» нетрудно представить как техническое устройство (Корндорф, 2011)¹⁰, в просторечии именуемое «лохотрон», в данном случае — парадигму дискурса, способную порождать амбивалентные интерактивные ситуации (пресловутую «double bind» Грегори Бейтсона). Такого рода устройства позволяют блокировать рефлексию получателей сообщения о его содержании, прагматической ценности, надежности его источников, условиях его достоверности или других переменных, свидетельствующих о его эпистемологическом статусе (является ли это сообщение вымыслом, смутной догадкой или чистой правдой). Наконец, любую «теорию заговора» всегда можно рассматривать как исполнение прямого или опосредствованного «социального заказа», в частности — как инструмент пропаганды, обеспечивающий эффективный «перевод стрелок», т. е. переадресацию деструктивных аффектов и агрессии (ресентимента в том числе) на заранее выбранную жертву. Классические «теории заговора» часто использовались именно в этом качестве, их всегда нетрудно представить как чисто полицейскую уловку, позволяющую «выпустить пар», добиваться поддержки действующего политического режима, размещать публичных субъектов власти на фоне, который оправдывает их действия, в том числе репрессивные, или каким-то иным образом справиться с аффектами и движениями протеста.

Тем не менее никакая личная мотивация, технические эффекты или даже востребованность не превращают «теорию заговора» в матрицу, по которой формируются стереотипы политического здравого смысла. Для этого сообщение о заговоре должно обладать хотя бы относительным правдоподобием, это значит — повседневная социальная реальность, в которой это сообщение транслируется, должна быть «дружественной» к измышлениям маргинала, сценическим артефактам и полицейским уловкам, т. е. хотя бы отчасти дублировать ту конфигурацию социального пространства¹¹, которую они предполагают. В такой перспективе субъект, публикующий «теорию заговора», всегда может быть представлен как особого рода ампула политического театра, «предполагаемые обстоятельства» которого более или менее понятны.

9. О мотивах, побуждающих к такого рода измышлениям, см., например: Фридман, Комбс, 2001.

10. На заре советского кино Г. Козинцев и Л. Трауберг назвали такие артефакты дискурса аттракционами, имея в виду, что их главное назначение — формировать публику, привлекая, удерживая и структурируя внимание зрителей.

11. Не исключаю, что как раз такое совпадение фантазма и реальности, которое уже задним числом, в ретроспективе, выглядит как преобразование чисто интеллектуальной конструкции в повседневную социальную рутину, предполагает «теорема Томаса». См.: Glass, 1985.

Прежде всего перформативный контекст, в котором будут востребованы и уместны «теории заговора», должен обеспечивать широкую и беспрепятственную циркуляцию «предметов веры». Такое условие, очевидно, выполняется либо в малых теократических сообществах, одно из которых вошло в историю благодаря судебному процессу¹², известному как «дело сэйлемских ведьм», либо, наоборот, в обществах позднего *modernity* с их гипертрофированной медиасферой. Как принято считать, такие общества начали складываться в Западной Европе к середине XIX века. Одним из первых свидетельств трансформации медиа в «массовую», т. е. общедоступную и универсальную, инфраструктуру социального признания, «дружественную» ко всякого рода симулякрам, в том числе обычным «политически целесообразным» измышлениям, могут, по-видимому, считаться романы Бальзака, где впервые речь идет о тайных обществах, их деятельности и ресурсах влияния, которыми они располагали¹³. Первые классические «теории заговора» были придуманы журналистами, которые сотрудничали с подобными обществами, т. е. контекстом их действий была виртуальная реальность массмедиа, дезинформации и того, что сегодня называют «public relations», а не экономика или практическое осуществление власти.

Этот контекст предполагает формат государственной власти, который я бы определил как «представительная», или «плебисцитарная», демократия, когда народное собрание только вотирует решения, принятые советом его представителей. В отличие от классической монархии, когда любые решения принимает суверен, т. е. «помазанник Божий», неподотчетный народному собранию *de jure*, в силу религиозной санкции, полученной при коронации (Шмитт, 2000), а также архаичных форм демократии, когда решения принимаются лидерами территориальных общин или воинских дружин, неподотчетными народному собранию *de facto*, в силу своего эксклюзивного социального статуса и тех ресурсов влияния, которые с ним ассоциированы¹⁴, «плебисцитарная» демократия предполагает,

12. По аналогии с этим судебным процессом любые публичные разбирательства, предмет которых прямо или косвенно определяет какая-либо «теория заговора», принято называть «охота на ведьм». Контекст таких разбирательств может быть самым разным, однако их сценарий неизменно определяет подозрение в религиозной, политической или гендерной «испорченности»: в одержимости дьяволом, как в «деле сэйлемских ведьм»; в левых взглядах или даже непосредственных сношениях с коммунистами, как во времена маккартизма; в ненормативной сексуальной ориентации, как в наше время; в принадлежности к неприкасаемым, как «на зоне»; или в расовой, т. е. прирожденной и комплексной, социальной неполноценности, как при нацистах.

13. Литература, посвященная массмедиа как инфраструктуре современного «политического театра», неохватна, укажу только несколько публикаций, которые кажутся мне наиболее релевантными: Луман, 2005; Больш, 2011; Habermas, 1984; Calhoun, 1990; Handelman, 1990. Ссылку на романы Бальзака или Умберто Эко как источник информации не следует считать курьезом: до изобретения «публичной социологии», а это уже XX век, именно роман, публикуемый «с продолжением» в газетах или еженедельниках, являлся «форматом», обеспечивавшим артикуляцию повседневного социального опыта и даже какую-то первичную рефлексию о его содержании. Эту функцию роман сохраняет чуть ли не до появления блогосферы, т. е. до наших дней.

14. О таких архаичных формах демократии можно составить представление по свидетельствам тех, кто наблюдал принятие решений в сообществах на социальной и географической «периферии»

что решения принимают индивиды (так называемый «парламент»), специально делегированные народным собранием, а значит — ему подотчетные¹⁵. Более того, общепринятая процедура идентификации таких индивидов представляет собой непрерывное публичное соперничество между претендентами на соответствующее политическое амплуа, которое и превращает народное собрание в зрителей, политическое сообщество — в актеров, а процесс осуществления власти — в сценический перформанс (театр, попросту говоря), для участников которого «теория заговора» становится одним из наиболее эффективных диспозитивов, обеспечивающих привлечение, удержание и структуризацию публики. Все это объясняет, как так получается, что «плебисцитарная» демократия всегда чревата вырождением в особого рода авторитарный режим¹⁶, установленный по решению народного собрания, а не в результате насильственного захвата власти.

Обе эти сугубо институциональные предпосылки к тому, чтобы в обществах позднего *modernity* парадигматика «теории заговора» оказалась вполне эффективным и даже востребованным инструментом достижения или удержания власти, приобретают особое значение в «пограничных» ситуациях политического, экономического или системного кризиса, когда разрушение сложившегося социального порядка и сопряженные с этим перемены в контекстах повседневного действия становятся очевидными¹⁷. Прежде всего в условиях кризиса перестают действовать конвенции, определяющие условия доступа на «политическую сцену» или даже карьеры вообще, и приобретают особое значение перформативные клише, которые повышают личную аттрактивность индивида, претендующего на то или иное востребованное политическое амплуа. В такой перспективе «теория заговора» оказывается на редкость к месту — не случайно древнейшим и по-прежнему самым востребованным перформативным жанром, который уравнивает политическую и театральную сцену, является трюк иллюзиониста (Гаврилов, 2006; Макаров, 2006; Turner, 1988). Вполне допускаю, например, что кто-то из тех, кто укрылся под псевдонимом «Вильям Шекспир», был экспертом в области политической интриги: уж больно его «хроники» похожи на обычную сценарную проработку коллизий, возникающих в результате успешной «разводки на заговор». Кроме того, в условиях кризиса обостряются и получают распространение аффекты, обусловленные лич-

глобальной системы, а также по телесериалам «о ментах и бандитах»: в сценах, где показывают воровскую сходку. См.: Moore, 1967.

15. Отсюда, надо полагать, распространено представление о том, что в условиях «плебисцитарной» демократии парламент, правительство, сотрудники «аппарата» или другие непосредственные исполнители власти — это менеджеры, нанятые народным собранием по конкурсу и потому требующие перманентного надзора с его стороны.

16. Как это временами случалось в Древней Греции, где тираном называли правителя, получившего власть именно таким образом. Нечто похожее случилось во Франции середины XIX века и в Германии середины XX и по-прежнему временами происходит в странах третьего мира. Классическим и до сих пор актуальным исследованием такого сорта эксцессов остается работа К. Маркса «18 брюмера Луи Бонапарта», предметом которой, как известно, является исследование заговора.

17. На социетальном или глобальном уровнях такого рода ситуации принято определять как *post-modernity*. См.: Harvey, 1989.

ными или социальными травмами, неврозом тревожности, а также этническими, гендерными возрастными, классовыми и контекстуальными фобиями. В данном контексте «теории заговора» легко становятся предпосылкой к солидарности между индивидами, испытывающими такие аффекты (тот же ресентимент, например), и даже к возникновению первичных коалиций с достаточно высоким уровнем консенсуса¹⁸, а это и есть политика. Наконец, что самое главное, любая «теория заговора» позволяет рассматривать абсурдное, двусмысленное, ошибочное или просто непонятное поведение индивидов, представляющих народное собрание на «политической сцене», как заговор *sui generis*, т. е. рациональную и вполне объяснимую, но тщательно камуфлированную попытку разрешить какую-то проблему, публичная демонстрация которой тоже отчего-то исключена. В «пограничных» ситуациях кризиса, сопряженных с разрушением сложившегося социального порядка, «теория заговора» обеспечивает универсальную нормативную валидность парламента и массмедиа как институциональных предпосылок репрезентации¹⁹, мобилизацию и солидарность достаточно крупных сегментов электората, а также совладание с переменами на «политической сцене», затрагивающими контексты повседневного личного успеха или сценарии карьеры.

Такая перспектива сохраняется недолго и только при определенных условиях — в обществах с дееспособным парламентом, высоким уровнем доверия массмедиа и при наличии реальной «внешней» угрозы, позволяющей оправдать камуфляж предпринятых действий соображениями секретности. При отсутствии подобных условий «теория заговора», наоборот, может быть легко обращена в инструмент критики действующего политического режима или даже его дискредитации. Как правило, разрушение сложившегося социального порядка и его перформативных конвенций порождает дилеммы, неразрешимые в краткосрочной перспективе. Это, в свою очередь, провоцирует так называемый «раскол элит», появление легитимной и влиятельной оппозиции, чьи оперативные ресурсы позволяют ей обратить уловку, связанную с «теориями заговора», против действующего политического режима: например, обвинения властей предержавших в коррупции или других пороках обычно сформулированы по образцу «теории заговора» и распространяются в таком же режиме (Гурьянова, 1988). Взаимные обвинения властей предержавших и оппозиции в заговоре, направленном на узурпацию власти в обход народного собрания, можно наблюдать во время любой предвыборной кампании, но особенно энергичными они становятся в ситуациях политического кризиса.

18. Можно предположить, что именно образование или сохранение таких коалиций, востребованное в периоды кризиса, является основной социальной функцией практик, известных как «остракизм». См.: Суриков, 2006; Бринтон Перера, 2009; Gruter, Masters, 1986.

19. С этой точки зрения «пикейный жилет», трактующий действия какого-либо «ответственно-го» субъекта политики как осуществление стратегии, которую нетрудно понять любому желающему, отличается от парламентария или сертифицированного аналитика только уровнем своей информированности и качеством предлагаемых объяснительных конструкций, но не своими исходными установками. См.: Сергеев, 1999.

Тем не менее для того, чтобы сконструировать действительно хорошую, т. е. убедительную и популярную «теорию заговора», рассчитанную на длительный срок службы, этого недостаточно. Необходимо, чтобы деградация социального порядка была хорошо заметной, но диффузной, наблюдаемой скорее как множество локальных аномалий и сбоев повседневного действия (Скэрдеруд, 2003; Мэй, 2001), нежели как процесс или тренд, который можно уверенно экстраполировать в будущее и объяснить влиянием какого-либо конкретного фактора. Чаще всего такая самопроизвольная и вялотекущая деградация социального порядка, порождающая аффект беспокойства и тревоги о будущем (Дуглас, 2000), наблюдается в периоды системного кризиса (так называемого «застоя»), который проецируется на «политическую сцену» как ожидание действий, способных идентифицировать и заблокировать латентную угрозу. При отсутствии или заведомой недостаточности таких действий угроза проецируется за кулисы «политической сцены» как подозрение индивидов, представляющих народное собрание, в коррупции²⁰, «двойной игре» или даже тайном сотрудничестве с врагами. Как правило, деградацию социального порядка объясняют лояльностью этих индивидов к какому-то альтернативному политическому сообществу, их зависимостью от зарубежных «центров влияния» или конкретных персон, наконец, одержимостью «врагом рода человеческого», который и понуждает конкретных субъектов власти к действиям или бездействию, способствующим развитию кризиса²¹, т. е. демонстрирует статус реального суверена.

Такого же рода контексты диффузной и вялотекущей деградации социального порядка могут складываться не только вследствие «застоя», но и наоборот — в обществах, где происходят крупномасштабные социальные перемены, сопряженные с так называемой «эмансипацией», т. е. с разрушением традиционных иерархий и социальных границ²², повышением уровня мобильности, в том числе значительным долговременным притоком иммигрантов²³, а также с возникновением разрыва между поколениями аборигенов в образцах поведения, понятиях и ценностях. Даже при весьма поверхностном и фрагментарном знакомстве с дискуссиями, посвященными феномену массовой инокультурной иммиграции в «за-

20. Термин «коррупция» заимствован из богословских сочинений, где он означает подверженность человека погибельным соблазнам, т. е. «испорченность», непригодность к исполнению морального долга, каковым не без оснований считается репрезентация народного собрания на «политической сцене». См.: Gilpin, 1867.

21. Концепт «враг народа» обозначает такого субъекта власти, одержимого «врагом рода человеческого», но предполагает более или менее секуляризованные перформативные контексты — своего рода компромисс между политической функцией и религиозным смыслом, обычный для дискурса «гражданских культов». См.: Доусон, 2002.

22. Этот процесс и обратил политическую репрезентацию в проблему, для разрешения которой понадобилось определить «политическое» заново — сначала на практике, в преддверии мировой войны, а затем и в теории. См.: Schmitt, 2007; Шмитт, 1992.

23. Общим прототипом таких перемен и сопряженных с ними эксцессов для стран Европы, безусловно, является исход евреев из гетто. См.: Кац, 2007.

падные» общества²⁴, нетрудно заметить существование широкого спектра релевантных «теорий заговора» — от распространенного бытового представления о мусульманах-иммигрантах как о «пятой колонне» джихада до внятных публичных намеков на заговор транснациональных элит, направленный на долговременную и крупномасштабную трансформацию «западных» обществ, включая прежде всего их политические институты.

Точно так же в советском обществе разрыв между пред- и послевоенными поколениями²⁵, пережитый обеими сторонами как вторжение многочисленного и весьма энергичного инокультурного контингента, способствовал появлению, широкому распространению и даже отчасти превращению в официальную доктрину версии «теории заговора», согласно которой эстетические предпочтения молодежи являются следствием «идеологической диверсии» со стороны западных спецслужб — подозрение, которое в дальней исторической ретроспективе отнюдь не кажется вздорным (Игнатъев, 2015). Во всяком случае, конкуренция или антагонизм между социальными группами, представители которых заметно отличаются по своему антропологическому типу и хабитусу, а также по своей позиции относительно социального «центра» общества — это перформативный контекст (Stonequist, 1961), объективно благоприятный для формирования и распространения «теорий заговора». При этом жертвой стигматизации и кандидатом в инициаторы заговора обычно становится какая-нибудь влиятельная или хорошо заметная, но периферийная социальная группа: например, в начале XX века таким деструктивным фактором были «студенты, жида и поляки», а в начале XXI ими стали «хипстеры, азиаты и лица кавказской национальности», меняется только морфология дискурса, тогда как его структура остается той же самой.

Наконец, всякий контекст, благоприятный для формирования и распространения «теорий заговора», предполагает социальные процессы, которые принято называть эпидемическими. К таким процессам относят прежде всего распространение слухов, сенсаций и модных новинок, которое подчиняется той же «эпидемической модели Пуассона», что и эпидемии заразных болезней (Гладуэлл, 2010). Поскольку распространение «теорий заговора» происходит точно таким же образом, разумно предположить, что оно подчиняется той же модели. Любая конкретная «теория заговора» сначала циркулирует как приватное устное сообщение, предмет face-to-face интеракции, затем, если сообщение окажется востребован-

24. При обилии публикаций, посвященных этому феномену, их предметом, к сожалению, остается только одна сторона вопроса — положение мигрантов, а также практикуемые ими стратегии освоения чужого географического и социального пространства, в том числе публичного, тогда как влияние массовой инокультурной иммиграции на быт и нравы аборигенов, а также их повседневная стратегическая рефлексия об этом влиянии все еще ждут объективной и тщательной аналитики, которую отнюдь не заменяет развешивание чисто идеологических ярлыков. См., в частности: Брубейкер, 2012; Малахов, 2014.

25. Как справедливо мне однажды попеняла Н. В. Самутина, сегодня уже надо пояснять, какая именно война имеется в виду, в данном случае это Вторая мировая война, т. е. поколение, заявившее о своих притязаниях в 1960-е годы, однако разрыв между поколениями может оказаться следствием любой массовой социальной травмы. См.: Alexander, 2012.

ным, оно публикуется медиа как частное мнение какой-нибудь поначалу курьезной, а затем все более авторитетной персоны, а позднее, оформленное уже в соответствии с канонами «теории заговора», приобретает статус расхожего «предмета веры», с которым ассоциирован массовый, сильный и весьма устойчивый аффект так называемой «моральной паники», проблематизация которого трудна и даже опасна (Thompson, 1998). Подобные процессы, как отмечалось, возможны либо в небольших сообществах с высоким уровнем интеграции, либо в обществах позднего *modernity* с их развитой медиасферой. Кульминацией процесса обычно является пресловутая «охота на ведьм», т. е. целенаправленная публичная стигматизация той или иной персоны или социальной группы, в результате подозрения в их адрес становятся общепринятыми соображениями здравого смысла.

«Теории заговора» — вовсе не литературный курьез, не симптом чьего-то личного умственного расстройства, в том числе этнических или гендерных фобий, не полицейская уловка или сценическая провокация и совсем не свидетельство вырождения актуальной политической мысли или даже общей испорченности дискурса, но естественный формат стратегической рефлексии в обществах позднего *modernity*, особенно в периоды их системного кризиса. Если никакого реального заговора нет, его приходится выдумать хотя бы для того, чтобы аналитик мог остаться в пространстве рационального действия²⁶. Такие сорта выдумки, однако, не получили бы сколько-нибудь широкого распространения и долговременной актуальности, если бы они не выполняли важные социальные функции.

Как мы могли убедиться, любая популярная «теория заговора» позволяет представить кризис как результат латентного, но вполне доступного пониманию и артикуляции в дискурсе конфликта, в который вовлечены представители народного собрания (парламент в целом или так называемая «правящая клика»). Тем самым «теория заговора» позволяет экспонировать ситуацию кризиса в медиасфере и чисто бытовых дискуссиях, без чего эффективная политическая репрезентация невозможна. Можно даже утверждать, что конституирование «политического» как социального пространства, в котором размещены субъекты власти, а также институты и коалиции, которые обеспечивают легитимность их действию или бездействию, осуществляется прежде всего как конструирование популярной «теории заговора», наделяющей конкретных публичных акторов статусом «врагов», «союзников» или случайных прохожих.

Нетрудно заметить, что структурирование дискурса, которую К. Шмитт предлагает как определение «политического», и формат стратегической рефлексии, характерный для «теорий заговора» с их установкой прежде всего на идентификацию «врага», действиями которого объясняют как возникновение кризиса, так и необходимость камуфляжа, в том числе обычной цензуры, в значительной степени совпадают. В данном конкретном случае можно, наверное, даже предположить

26. В наши дни «теория заговора» грозит превратиться в матрицу расхожих фразеологических оборотов: например, очередная религиозно-эсхатологическая новинка московского Центра Карнеги озаглавлена таким образом, что мысль о заговоре возникает сама собой. См.: Малашенко, Филатов, 2014.

историческую преемственность, поскольку именно немецкоязычные интеллектуалы длительное время были наиболее активными потребителями и распространителями концепций, выполненных в формате «теории заговора». Более того, очевидно, что учредительный миф государства, как его трактует Э. Кассирер (Cassirer, 1961), т. е. институциональные формы «политического», предполагающие в первую очередь защиту населения от врага (как реального, так и виртуального), тоже могут рассматриваться как воплощение «теории заговора», которая, в свою очередь, воспроизводит круг мифологем (Фрейденоберг, 1978; Агамбен, 2011а, 2011б), связанных с практиками иерофании или экзорцизма, в том числе с очистительными ритуалами.

Становление нового государства часто выглядит как осуществление какого-то сугубо виртуального заговора²⁷, предполагающего возникновение суверенитета практически *ex nihilo*, первоначально из фантазий немногочисленного сообщества странных людей, чаще всего невротиков, склонных к изобретению альтернативной социальной реальности, потом — из конвенций между так называемыми «великими державами», для которых эта придуманная социальная реальность может оказаться удачным проектом разрешения какого-то очень серьезного конфликта, иногда позже эти конвенции становятся привычной фигурой риторики, которая в ситуации очередного международного кризиса и конфликта вполне может послужить основанием для реальных притязаний на суверенитет. На практике эти притязания длительное время остаются групповым или даже чисто личным проектом и зачастую обеспечены не субстанцией реального социального тела, в просторечии именуемого «нация» или «народ», а сугубо реляционными факторами — констелляциями отношений между соседствующими государствами, а также соглашениями относительно границ нового буферного и транзитивного политического артефакта. Малые государства надолго, иногда даже навсегда, сохраняют именно такой промежуточный статус.

Такого рода сценарии показывают, что «теория заговора» совсем не обязательно является чистым вымыслом, предназначенным главным образом или даже исключительно для «промывки мозгов» электората. Достаточно часто это парадигма оперативной рефлексии о власти, т. е. фрейм для организации сведений о множестве локальных конфликтов, частных интересах и ресурсах, которыми они обеспечены, или персональных и групповых акциях в единый системный проект развития событий. На практике любой серьезный политический конфликт есть прежде всего столкновение таких проектов, вследствие чего верной оказывается та из конкурирующих «теорий заговора», чьим сторонникам удастся одержать победу. Это значит, что «теория заговора» предполагает не столько исследовательскую, сколько консультативную прагматику, т. е. формирование соответствующих представлений в контингентном режиме диалога между аналитиком и его клиентами —

27. На это намекает заглавие известной работы Б. Андерсона, в которой нация, обладающая суверенитетом, рассматривается как «imagined community», т. е. сообщество, возникшее в результате каких-то умышленных и целенаправленных действий. См.: Андерсон, 2001.

действующими субъектами политики или другой «заинтересованной публикой», а вовсе не конститутивный монолог *ex cathedra*, претендующий на демонстрацию каких-то удостоверенных истин, как это полагается в учебной аудитории или на страницах специальных научных изданий (Шейн, 2008; Collins, Evans, 2009). Вот почему любая популярная «теория заговора», даже самая фантастическая, может оказаться убедительным алиби или даже вполне эффективным стимулом при разработке встречных проектов, которые так или иначе позволяют совладать с неблагоприятным развитием событий. Практики, известные как «военный переворот» или «охота на ведьм», мотивированы прежде всего какой-нибудь популярной «теорией заговора», которая и обеспечивает легитимацию реального встречного заговора. Более того, любая популярная «теория заговора» обеспечивает эффективную легитимацию «плебисцитарной» демократии как политического режима, предполагающего отстранение «кухарки» от управления государством, т. е. разделение народного собрания на «профи», которые реально участвуют в осуществлении власти (их обычно идентифицируют как «политическое сообщество»), и так называемый «электорат», который остается не всегда даже заинтересованным наблюдателем действий или событий на «политической сцене» — на телеэкране или дисплее компьютера. В условиях затяжного системного кризиса разделение общества на властвующую элиту с ее монополией присутствия на «политической сцене» и молчаливое большинство чревато тем, что популярная «теория заговора» окажется действенным мотивом регрессии к наиболее примитивным формам «политического»: к замещению государства отношениями потестарности, обеспечивающими неформальный личный или групповой контроль над социальным пространством.

Одной из важнейших функций государства, трактуемого как воплощение «теории заговора», становится перманентный мониторинг территории и ее окрестностей на предмет идентификации «врага», т. е. разведка и контрразведка, которые тоже отчасти являются камуфляжем, обозначаемые весьма неточными общими псевдонимами «тайная полиция» или, как теперь принято, «спецслужбы». В отличие от полиции²⁸, спецслужбы заняты идентификацией угроз действующему социальному порядку, а не его поддержанием, отсюда их корпоративный слоган «знать, но не вмешиваться». В отличие от традиционной (военной) разведки, спецслужбы «по умолчанию» рассматривают такую угрозу как постоянно действующую

28. За границами весьма специфического политического или даже идеологического контекста (Штолльрайс, 2000), обозначаемого идиомой «полицейское государство», полиция — либо одно из подразделений армии («внутренние войска», «национальная гвардия»), либо субститут общинного самоуправления, возникающий в начальный период индустриализации: там, где массового переселения из деревни в город или же из провинции в столицу нет, т. е. локальные городские сообщества не подвергаются натиску мигрантов, достаточно «муниципальной полиции» или территориальной милиции с характерными для них выборностью руководства, установкой на компромиссы с местным населением и преимущественным вниманием к молодежи, а также новоприбывшим чужакам.

щий и диффузный фактор²⁹, а не следствие конкретного вооруженного конфликта, хотя бы только ожидаемого в будущем. Понятно, что исполнение таких функций предполагает своего рода институциональную паранойю (Felix, 1963), т. е. правдоподобную, влиятельную и кодифицированную «теорию заговора», которая таким образом превращается в «учредительный миф» спецслужб как социального института³⁰, а также перманентный и разносторонний камуфляж, который, в свою очередь, предполагает дистанцирование спецслужб от «политической сцены», превращая их, таким образом, в легальные тайные общества.

Предметом озабоченности спецслужб является пресловутый «не наш человек», т. е. девиантная идентичность, а не защита территории от вторжения, как у вооруженных сил и их разведки, или же институциональный социальный контроль, как у полиции (временами эти функции частично или полностью совпадают). На девиантную идентичность указывает уже сам факт доноса, остается только выяснить, идет ли речь о человеке, страдающем какими-то конститутивными дефектами личности, недостаточно компетентном и умелом, или же о потенциальном участнике какого-то тайного заговора. Общим историческим прототипом подобных организаций, безусловно, являются военно-монашеские ордена³¹, с которыми спецслужбы достаточно часто сравнивают. Можно предположить, что своим форматом современные популярные «теории заговора» обязаны риторике церковной борьбы с ересями, сектами и всяческими тайными культами, а вовсе не практике реальных посягательств на власть. Неслучайно на роль инициаторов и субъектов такого предполагаемого заговора обычно номинированы хорошо известные оппоненты церкви.

Трудно не заметить, например, что карьера разведчика-нелегала, работающего *undercover* за границами «политической сцены», реализует архаичный сценарий жертвоприношения, сопряженного с дивинацией. Поэтому она непременно предполагает финальный провал, мучительную смерть или долгую трудную отсидку, а также последующее долгое забвение. Без этого карьера разведчика как бы не считается завершенной, а сам герой — достойным получения заслуженной им награды. Тот же архетипический сценарий трансгрессии и связанного с ней вознаграждения *post mortem* реализует карьера летчика-испытателя, биографические нарративы которого, в том числе обычные застольные воспоминания, демонстрируют устойчивую и общепринятую трактовку собственной гибели или безвестности как «цены вопроса». Очень похожий сценарий, отсылающий к тем же архаичным культовым практикам и мифологемам жертвоприношения, определяет

29. С этой точки зрения институционализация спецслужб является одним из проявлений гораздо более широкого тренда, наметившегося во второй половине XIX столетия, в том числе в области социальной и гуманитарной мысли. См.: Игнатьев, 2003.

30. Институционализация спецслужб приходится на тот же исторический период, что и появление наиболее влиятельных «теорий заговора». См.: FitzGibbon, 1977.

31. Чаще всего в качестве такого прототипа, по образцу которого позднее были созданы масонские ложи, общество иллюминатов или Коминтерн, называют орден тамплиеров. Не исключено, что он был западноевропейской репликой одного из суфийских тарикатов. См.: Тримингем, 1989.

карьеру актера. Считается, что она состоялась вполне, если актер реально умирает на подмостках в сцене гибели своего персонажа, т. е. достигает полного и необратимого перевоплощения. Неслучайно актеров раньше принято было хоронить за церковной оградой и даже в безымянной могиле, тогда как гроб с телом актера провожают аплодисментами и в наши дни.

Наконец, любое закрытое сообщество предполагает не только социализацию своих представителей, т. е. овладение определенными инструментальными навыками, но и так называемую «инициацию» — контролируемое расщепление идентичности, характерное как для разведсообществ, так и для театра, а также транснациональных корпораций, диаспор и церкви. Как и определение «политического», это тоже большая самостоятельная проблема, рассмотрение которой, безусловно, требует выхода далеко за рамки не только формата, но и предмета данной статьи (Элиаде, 1999). Отмечу только, что всякая «теория заговора» заведомо предполагает конфликт, который она и моделирует: инициант либо реально вовлечен в такой конфликт, как одна из его «сторон», либо себя с ней идентифицирует, а это и есть конститутивный признак «ритуальной драмы», т. е. особого рода перформансов, участие в которых обеспечивает инициацию (Тэрнер, 1983; Пропп, 1986). Есть основания полагать, что отношения лидерства, без которых политики не бывает, — это результат соучастия в какой-нибудь «ритуальной драме», моделирующей «пограничную» ситуацию кризиса. Отсюда — исключительное значение «разметок», сложившихся в результате ее преодоления. Если так, то конфронтация с влиятельной и правдоподобной «теорией заговора», пусть даже чисто интеллектуальная, в опыте стратегической рефлексии — то самое «посвящение», в процессе которого формируется реальный, а не номинальный, субъект политического действия.

Инициация при посредстве «теории заговора» сохраняет свое значение далеко за границами контекста, непосредственно связанного с деятельностью спецслужб: конфронтация с какой-нибудь общепринятой «теорией заговора», определяющей фабулу очередного политического спектакля, — интеллектуальный тренинг, необходимый любому человеку, который претендует на эффективную стратегическую рефлексию, хорошая профилактика иллюзий, связанных с устойчивыми массовыми привычками разума. В такой перспективе «теория заговора» очень похожа на изображение очага и котла с похлебкой на холсте в каморке папы Карло в сказке А. Толстого «Приключения Буратино». В самом начале инициации будущий субъект, все равно — реального политического действия или его аналитики, воспринимает любую «теорию заговора» как реальность, затем, по мере формирования «зрелой» корпоративной идентичности — как иллюзию, к исходу же посвящения убеждается, что это всегда только завеса, скрывающая совсем иную реальность, которая тоже театр, но несколько иного сорта, нежели тот, который предполагают «теории заговора» с их неперенными вечными поисками врага.

* * *

Если вернуться к истории вопроса, то можно сделать вывод, что такие конститутивные признаки тоталитарных политических режимов, как театрализация практик власти, вследствие которой постановка бывает неотличима от реального массового действия³², а также особая, даже исключительная, роль медиасферы, в том числе экстраординарный статус журналиста как распространителя сенсаций, новостей и авторитетных личных мнений, «теориями заговора» имплицитно предполагаются с самого начала. Какое-то время эти признаки как бы сохраняют латентный характер и заметны только при очень внимательном исследовании феномена (как, например, в романе Умберто Эко «Пражское кладбище»), однако по мере превращения «теории заговора» в общепринятую политическую доктрину или даже воплощение здравого смысла они постепенно становятся явными — тенденция, отнюдь не свойственная практикам осуществления власти, возникающим вследствие военного переворота, «аппаратной интриги» или других чисто инструментальных форм заговора. «Теории заговора» — действительно исторически недавний феномен, характерный скорее для обществ позднего *modernity* с его секуляризацией, представительной демократией, общедоступной «публичной сферой» и медиасообществом, влиятельными меньшинствами, кризисами репрезентации и «теневыми» практиками, нежели для контекстов политической архаики, хотя, конечно, отдельные прецеденты обсуждаемых нами конструкций или попытки их исследования в динамике предпринимались и раньше.

Уместно высказать гипотезу, которая не имеет непосредственного отношения к рассматриваемой проблематике, однако позволяет выделить некоторые универсальные характеристики всякого политического действия, в том числе направленного на конструирование «теории заговора». Есть основания полагать, что сходство между социальным контекстом, в котором возникают или циркулируют «теории заговора», и театром отнюдь не случайно: прототипом «публичной сферы», как современной, так и античной (Winkler, Zeitlin, 1990), являются вовсе не практики коллективного принятия решений народным собранием, как считал Ю. Хабермас, а театр³³, для которого заговор всегда был и остался расхожей перформативной идиомой. Специфическая разметка социального пространства, которая характерна для практик репрезентации, составляющих необходимое техническое условие «плебисцитарной» демократии, сформировалась еще в условиях монархии на сцене придворного (как во Франции) или столичного (как в Англии) театра, когда роль народного собрания играла публика в зрительном зале, ари-

32. Кадры из художественного фильма «Октябрь», снятого С. Эйзенштейном, на протяжении долгого времени вполне чистосердечно демонстрировались как хроника реальных исторических событий. Такое же, как в тех небольших фольклорных текстах, что предворяют основной текст статьи, неразличение виртуальной и материальной реальности характерно для всякого рода видеочитат из фильмов Лени Рифеншталь, как, впрочем, и для них самих тоже.

33. В античном обществе театр выполнял скорее компенсаторные, нежели развлекательные функции, приобретая особый статус именно в периоды кризиса.

стократическая в первом случае и демократическая во втором, многое объясняет. Если принять во внимание сродство или даже историческую преемственность между практиками театра, массовых зрелищ и ритуалом публичной казни (Евреинов, 1996), а также значение этого ритуала как важнейшего из оснований для передачи суверенитета от монарха народному собранию (Манов, 2014), без которой «плебисцитарная» демократия немыслима, то такая гипотеза отнюдь не выглядит вздорной. Более того, чистое коммуникативное действие, не обезображенное инструментальной прагматикой, осуществимо только на театральной сцене — как перформанс, который и вправду остается самодовлеющей манифестацией идентичности. Именно в этом случае вопрос о реальности заговора, как и о достоверности сведений, полученных от первого встречного призрака, на чем потерял корону, рассудок и жизнь Гамлет, принц датский, действительно не имеет смысла.

Есть, правда, мнение, будто заговор все-таки был и даже вполне удался, его жертв можно видеть посреди сцены в конце спектакля, а вот его инициаторы и бенефициары оставлены на самой границе нарратива, «в тени» всей истории, которую рассказывает Шекспир. Говорят, будто об этом предполагаемом заговоре даже написана книжка, которую я знаю только в пересказе и оттого-то на нее не ссылаюсь, но она, скорее всего, тоже фрагмент какого-то заговора.

Литература

- Агамбен Дж. (2011а). Номо Сасер. Суверенная власть и голая жизнь / Пер. с ит. И. Левиной и др. М.: Европа.
- Агамбен Дж. (2011б). Номо Сасер. Чрезвычайное положение / Пер. с ит. М. Велижева и др. М.: Европа.
- Агамбен Дж. (2013). Что такое повелевать? / Пер. с ит. Б. Скуратова. М.: Grundrisse.
- Андерсон Б. (2001). Воображаемые сообщества / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Баркер Дж. (2007). Парадигмы мышления: как увидеть новое и преуспеть в меняющемся мире / Пер. с англ. Т. Гутман. М.: Альпина Бизнес Букс.
- Большаков Н. (2011). Азбука медиа / Пер. с нем. Л. Ионина и А. Черных. М.: Европа.
- Бринтон Перера С. (2009). Комплекс козла отпущения: мифологические и психологические аспекты коллективной Тени и вины / Пер. с англ. В. Мершавка. М.: Класс.
- Брубейкер Р. (2012). Этничность без групп / Пер. с нем. И. Борисовой. М.: Издательский дом ВШЭ.
- Васильев Л. С. (Ред.). (2000). Политическая интрига на Востоке. М.: Восточная литература.
- Выготский Л. С. (1962). Психология искусства. М.: Искусство.
- Гаврилов Д. А. (2006). Трикстер: лицедей в евроазиатском фольклоре. М.: Мысль.
- Гладуэлл М. (2010). Переломный момент: как незначительные изменения приводят к глобальным переменам / Пер. с англ. В. Логвиновой. М.: Альпина Паблишер.

- Гофман И. (2000). Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Гофман И. (2004). Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. Р. Е. Бумагина и др. под ред. Г. С. Батыгина, Л. А. Козловой. М.: Институт социологии РАН.
- Гудков Л. (Сост.) (2005). Образ врага. М.: ОГИ.
- Гурьянова Н. С. (1988). Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе. Новосибирск: Наука.
- Доусон К. Г. (2002). Боги революции / Пер. с англ. К. Я. Кожурина. М.: Алетейя.
- Дуглас М. (2000). Чистота и опасность: анализ представлений об осквернении и табу / Пер. с англ. Р. Г. Громовой. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Евреинов Н. Н. (1996). Театр и эшафот: к вопросу о происхождении театра как публичного института // Мнемозина: документы и факты из истории русского театра XX века. Вып. 1. М.: ГИТИС. С. 14–44.
- Игнатъев А. А. (1978). Маргинальные эффекты в коммуникативных системах. // Семиотика и информатика. Вып. 10. М.: ВИНТИ. С. 96–115.
- Игнатъев А. А. (2003). Хаос: невидимая граница рациональности // Синий диван. № 2. С. 208–220.
- Игнатъев А. А. (В печати). Взлет и падение одной утопии: советские рок-группы в контексте истории // Вестник РГГУ.
- Каррэр Э. (2008). Филип Дик. Я жив, это вы умерли / Пер. с франц. Е. Новожиловой. СПб.: Амфора.
- Кац Я. (2007). Исход из гетто: социальный контекст эмансипации евреев, 1770–1870. Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры.
- Корндорф А. С. (2011). Дворцы Химеры: иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной сцены. М.: Прогресс-Традиция.
- Крючкова М. А. (2013). Триумф Мельпомены: убийство Петра III в Ропше как политический спектакль. М.: Русский Миръ.
- Леруа М. (2001). Миф о иезуитах от Беранже до Мишле / Пер. с франц. В. Мильчиной. М.: Языки славянской культуры.
- Луман Н. (2005). Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Практис.
- Макаров С. М. (2006). Шаманы, масоны, цирк: сакральные истоки циркового искусства. М.: КомКнига.
- Малашенко А., Филатов С. (Ред.). (2014). Монтаж и демонтаж секулярного мира. М.: РОССПЭН.
- Малахов В. С. (2014). Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций. М.: НЛО.
- Манов Ф. (2014). В тени королей: политическая анатомия демократического представительства / Пер. с англ. А. Яковлева. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Мэй Р. (2001). Проблема тревоги / Пер. с англ. А. Г. Гладкова. СПб.: ЭКСМО.

- Пропт В. Я.* (1986). Исторические корни волшебной сказки. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та.
- Пятигорский А.* (2009). Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства. М.: НЛО.
- Рогалла фон Биберштайн Й.* (2010). Миф о заговоре / Пер. с нем. М. Некрасова. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова.
- Сергеев В. М.* (1999). Демократия как переговорный процесс. М.: Московский общественный научный фонд.
- Суриков И. Е.* (2006). Остракизм в Афинах. М.: Языки славянских культур.
- Тримингем Дж.* (1989). Суфийские ордены в исламе / Пер. с англ. А. А. Ставиской под ред. О. Ф. Акимовской. М.: Наука.
- Тэрнер В.* (1983). Символ и ритуал / Пер. с англ. В. А. Бейлиса и И. М. Бакштейна. М.: Наука.
- Урри Дж.* (2012). Мобильности / Пер. с англ. А. В. Лазарева. М.: Праксис.
- Скэрдеруд Ф.* (2003). Беспокойство: путешествие в себя / Пер. с англ. М. Эскиной. Самара: Бахрах-М.
- Фрейдберг О. М.* (1978). Миф и литература древности. М.: Наука.
- Фридман Д., Комбс Д.* (2001). Конструирование иных реальностей: история и рассказы как терапия / Пер. с англ. В. В. Самойлова. М.: Класс.
- Шейн Э.* (2008). Процесс консалтинга: построение взаимовыгодных отношений «клиент—консультант» / Пер. с англ. И. Малкиной. СПб.: Питер.
- Шмитт К.* (1992). Понятие политического / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Вопросы социологии. № 1. С. 37–67.
- Шмитт К.* (2000). Политическая теология / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Штолльайс М.* (2000). Око Закона: история одной метафоры / Пер. с нем. А. Дронина. М.: РОССПЭН.
- Элиаде М.* (1999). Тайные общества: обряды инициации и посвящения / Пер. с франц. Г. Гельфанда. М.: Университетская книга.
- Alexander J. C.* (2012). Trauma: A Social Theory. Cambridge: Polity Press.
- Calhoun C.* (Ed.). (1990). Habermas and the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.
- Cassirer E.* (1961). The Myth of the State. New Haven: Yale University Press.
- Felix C.* (1963). A Short Course in the Secret War. Lanham: Madison Books.
- Collins H., Evans R.* (2009). Rethinking Expertise. Chicago: University of Chicago Press.
- Douglas M.* (1996). Natural Symbols: Exploration in Cosmology. London: Routledge.
- FitzGibbon C.* (1977). Secret Intelligence in the Twentieth Century. New York: Stein and Day.
- Glass J. M.* (1985). Delusion: Internal Dimensions of Political Life. Chicago: University of Chicago Press.
- Gruter M., Masters R.D.* (Eds.). (1986). Ostracism: A Social and Biological Phenomenon. New York: Elsevier.
- Habermas J.* (1984). Reason and Rationalization of Society. Boston: Beacon.

- Handelman D.* (1990). *Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Harvey D.* (1989). *The Condition of Postmodernity.* Oxford: Blackwell.
- Gilpin R.* (1867). *Daemonologia Sacra: A Treatise of Satan's Temptations.* Edinburg: James Nichol.
- Moore B. Jr.* (1967). *Social Origins of Dictatorship and Democracy.* Boston: Beacon.
- Schmitt C.* (2007). *The Concept of the Political.* Chicago: University of Chicago Press.
- Scott J.C.* (1990). *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcripts.* New Haven: Yale University Press.
- Stonequist E.* (1961). *The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict.* New York: Russel.
- Thompson K.* (1998). *Moral Panics.* London: Routledge.
- Turner V.* (1988). *The Anthropology of Performance.* New York: PAJ.
- Wilson C.* (1973). *The Occult.* London: Mayflower Books.
- Winkler J. J., Zeitlin F. I.* (1990). *Nothing to do with Dionisos?: Athenian Drama in its Social Context.* Princeton: Princeton University Press.

The Theater of Political Crisis: Conspiracy as a "Matter of Belief"

Andrey Ignatiev

Assistant Professor, Russian State University for the Humanities

Address: Miusskaya sq., 6, GSP-3, Moscow, Russian Federation 125993

E-mail: ignatievs@yandex.ru

The article discusses various "conspiracy theories," considering them to be a special frame or paradigm of discourse. This frame considers long-term societal and global trends as consequences of a conspiracy aiming to shift power to its initiators. It has been shown that every "conspiracy theory" presupposes a specific marking of social space that can be viewed as an attachment to the "theatre metaphor." This specific marking of social space does not occur in private by the founder of the method, but to situations of the public execution of power. This thesis discusses and proves the hypothesis that "conspiracy theories" are becoming functional constructs in crisis situations of a so-called "representative democracy," in ensuring the legitimacy of a respective political regime, in the perspective of crisis management, and in the initiations of effective political actors. The conclusion is that "conspiracy theories" are rather typical for the late-modernity societies than for the politically archaic contexts. These late modernity societies are characterized by secularization, "public sphere" accessibility, influential media, representation crisis, and "shadow" practices. Additionally, it has been shown that totalitarian political ideologies and regimes can be considered as "conspiracy theories" derivatives, resulting in a valid projection of this specific frame or paradigm of discourse on real political conflicts which emerge from societal or global crises.

Keywords: power, discourse, conspiracy theory, theatrical metaphor, representative democracy, mediasphere, crisis

References

- Agamben D. (2011) *Homo Sacer. Suverennaja vlast' i golaja zhizn'* [Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life], Moscow: Evropa.
- Agamben D. (2011) *Homo Sacer. Chrezvychajnoe polozhenie* [Homo Sacer. State of Exception], Moscow: Evropa.
- Agamben D. (2013) *Chto takoe povelevat'?* [What Does It Mean to Rule?], Moscow: Grundrisse.
- Alexander J. C. (2012) *Trauma: A Social Theory*, Cambridge: Polity Press.
- Anderson B. (2001) *Voobrazhaemye soobshhestva* [Imagined Communities], Moscow: Kanon-Press-C.
- Barker J. (2007) *Paradigmy myshlenija: kak uvidet' novoe i preuspjet' v menjajushhemsja mire* [Paradigms: The Business of Discovering the Future], Moscow: Alpina Business Books.
- Bolz N. (2011) *Azbuka media* [ABC of Media], Moscow: Evropa.
- Brinton Perera S. (2009) *Kompleks kozla otpushhenija: mifologicheskie i psihologicheskie aspekty kollektivnoj Teni i viny* [Scapegoat Complex: Toward a Mythology of Shadow and Guilt], Moscow: Klass.
- Brubaker R. (2012) *Jetnichnost' bez grupp* [Ethnicity without Groups], Moscow: HSE.
- Calhoun C. (ed.) (1990) *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge: MIT Press.
- Cassirer E. (1961) *The Myth of the State*, New Haven: Yale University Press.
- Collins H., Evans R. (2009) *Rethinking Expertise*, Chicago: University of Chicago Press.
- Dawson K. G. (2002) *Bogi Revoljucii* [The Gods of Revolution], Moscow: Aletejja.
- Douglas M. (1996) *Natural Symbols: Exploration in Cosmology*, London: Routledge.
- Douglas M. (2000) *Chistota i opasnost': analiz predstavlenij ob oskvernenii i tabu* [Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo], Moscow: Kanon-Press-C, 2000.
- Eliade M. (1999) *Tajnye obshhestva: obrjady iniciacii i posvjashhenija* [Secret Societies: Rites of Initiation], Moscow: Universitetskaja kniga.
- Evreinov N. (1996) *Teatr i jeshafot: k voprosu o proishozhdenii teatra kak publichnogo instituta* [Theatre and Scaffold: Toward the Question of the Origins of the Theatre as a Public Institution]. *Mnemozina: dokumenty i fakty iz istorii russkogo teatra XX veka. Vyp. 1* [Mnemosyne: Documents and Facts from the History of National Theater of the 20th Century. Issue 1], Moscow: GITIS, pp. 14–44.
- Felix C. (1963) *A Short Course in the Secret War*, Lanham: Madison Books.
- FitzGibbon C. (1977) *Secret Intelligence in the Twentieth Century*, New York: Stein and Day.
- Freedman J., Combs G. (2001) *Konstruirovanie inyh real'nostej: istorija i rasskazy kak terapija* [Narrative Therapy: The Social Construction of Preferred Realities], Moscow: Klass.
- Freidenberg O. (1978) *Mif i literatura drevnosti* [Myth and Literature of Antiquity], Moscow: Nauka.
- Gavrilov D. (2006) *Trikster: licedej v evroaziatskom fol'klоре* [Trickster: Mummer in the Euroasian Folklore], Moscow: Mysl'.
- Gilpin R. (1867) *Daemonologia Sacra: A Treatise of Satan's Temptations*, Edinburg: James Nichol.
- Gladwell M. (2000) *Perelomnyj moment: kak neznachitel'nye izmenenija privodjat k global'nym peremenam* [The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference], Moscow: Alpina Publishers.
- Glass J. M. (1985) *Delusion: Internal Dimensions of Political Life*, Chicago: University of Chicago Press.
- Goffman E. (2000) *Predstavlenie sebja drugim v povsednevnoj zhizni* [The Presentation of Self in Everyday Life], Moscow: Kanon-Press.
- Goffman E. (2004) *Analiz frejmov: jesse ob organizacii povsednevnogo opyta* [Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience], Moscow: IS RAN.
- Gruter M., Masters R. D. (eds.) (1986) *Ostracism: A Social and Biological Phenomenon*, New York: Elsevier.
- Gudkov L. (ed.) (2005) *Obraz vraga* [Image of the Enemy], Moscow: OGI.
- Gurjanova N. (1988) *Krest'tjanskij antimonarhicheskij protest v staroobrjadcheskoj jeshatologicheskoj literature* [Antimonarchic Peasant Protest in the Old Believers' Eschatological Literature], Novosibirsk: Nauka.
- Habermas J. (1984) *Reason and Rationalization of Society*, Boston: Beacon.

- Handelman D. (1990) *Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Harvey D. (1989) *The Condition of Postmodernity*, Oxford: Blackwell.
- Ignatiev A. (1978) Marginal'nye jeffekty v kommunikativnyh sistemah [Marginal Effects in Communicative Systems]. *Semiotika i informatika. Vyp. 10* [Semiotics and Informatics. Issue 10], Moscow: VINITI, pp. 96–115.
- Ignatiev A. (2003) Haos: nevidimaja granica racional'nosti [Chaos: An Invisible Borderline of Rationality]. *Sinij Divan*, no 2, pp. 208–220.
- Ignatiev A. (forthcoming) Vzljot i padenie odnoj utopii: sovetskie rok-gruppy v kontekste istorii [The Rise and Fall of a Utopia: Soviet Rock Bands in Historical Context]. *Vestnik RGGU*.
- Katz J. (2007) *Ishod iz getto: social'nyj kontekst jemansipaci evreev, 1770-1870* [Out of the Ghetto: The Social Background of Jewish Emancipation, 1770–1870], Ierusalim: Gesharim; Moskva: Mosty kul'tury.
- Carrère E. (2008) *Filip Dik: Ja zhiv, jeto vy umerli* [I Am Alive and You Are Dead: A Journey into the Mind of Philip K. Dick], Saint-Petersburg: Amfora.
- Korndorf A. (2011) *Dvorcy Himery: iljuzornaja arhitektura i politicheskie alljuzii pridvornoj sceny* [Palaces of Khimera: Phantom Architecture and Political Allusions in the Court Theater], Moscow: Progress-Tradicija.
- Kruchkova M. (2013) *Triumf Mel'pomeny: ubijstvo Petra III v Ropshe kak politicheskij spektakl'* [The Triumph of Melpomene: The Killing of Peter III in Ropsha as a Political Theater], Moscow: Russkij mir.
- Leroy M. (2001) *Mif ob ieziutah ot Beranzhe do Mishle* [The Jesuit Myth from Béranger to Michelet], Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury.
- Luhmann N. (2005) *Real'nost' massmedia* [The Reality of Mass-Media], Moscow: Praksis.
- Makarov S. (2006) *Shamany, masonry, cirk: sakral'nye istoki cirkovogo iskusstva* [Shamans, Masons, Circus: The Sacred Origins of Circus Arts], Moscow: KomKniga.
- Malakhov V. (2014) *Kul'turnye razlichija i politicheskie granicy v jepohu global'nyh migracij* [Cultural Differences and Political Boundaries in the Era of Global Migration], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Malashenko A., Filatov C. (2014) *Montazh i demontazh sekuljarnogo mira* [Mantling and Dismantling Secular World], Moscow: ROSSPEN.
- Manow F. (2014) *V teni korolej: politicheskaja anatomija demokraticheskogo predstavitel'stva* [In the King's Shadow. Political Anatomy of Democratic Representation], Moscow: Izdatelstvo Instituta Gajdara.
- May R. (2001) *Problema trevogi* [The Meaning of Anxiety], Saint-Petersburg: EKSMO.
- Moore B. (1967) *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Boston: Beacon.
- Piatigorsky A. (2009) *Kto boitsja vol'nyh kamenshhikov? Fenomen masonstva* [Who's Afraid of Freemasons?: The Phenomenon of Freemasonry], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie .
- Propp V. (1986) *Istoricheskie korni volshebnoj skazki* [Historical Roots of the Wonder Tale], Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta.
- Rogalla von Bieberstein J. (2010) *Mif o zagovore* [The Myth of the Conspiracy], Saint-Petersburg: Izdatelstvo imeni N. I. Novikova.
- Schein E. H. (2008) *Process konsaltinga: postroenie vzaimovgodnyh otnoshenij "klient-konsul'tant"* [Process Consultation Revisited: Building the Helping Relationship], Saint-Petersburg: Piter.
- Schmitt C. (1992) *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political]. *Voprosy sociologii*, no 1, pp. 37–67.
- Schmitt C. (2000) *Politicheskaja teologija* [Political Theology], Moscow: Kanon-Press-C.
- Schmitt C. (2007) *The Concept of the Political*, Chicago: University of Chicago Press.
- Scott J. C. (1990) *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven: Yale University Press.
- Sergeev V. (1999) *Demokratija kak peregovornyj process* [Democracy as a Negotiation Process], Moscow: Moskovskij obshhestvennyj nauchnyj fond.

- Skarderud F. (2003) *Bespokojstvo: puteshestvie v sebja* [Anxiety: A Journey into the Self], Samara: Bahrah-M.
- Stolleis M. (2000) *Oko Zakona: istorija odnoj metafory* [The Eye of the Law: The History of a Metaphor], Moscow: ROSSPEN.
- Stonequist E. (1961) *The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict*, New York: Russel.
- Surikov I. (2006) *Ostrakizm v Afinah* [Ostracism in Athens], Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury.
- Thompson K. (1998) *Moral Panics*, London: Routledge.
- Trimingham D. (1989) *Sufijskie ordeny v islame* [The Sufi Orders in Islam], Moscow: Nauka.
- Turner V. (1983) *Simvol i ritual* [Symbol and Ritual], Moscow: Nauka.
- Turner V. (1988) *The Anthropology of Performance*, New York: PAJ.
- Urry J. (2012) *Mobil'nosti* [Mobilities], Moscow: Praxis.
- Vasiliev L. (2000) *Politicheskaja intriga na Vostoke* [Political Intrigue in the East], Moscow: Vostochnaja literatura.
- Vygotsky L. (1962) *Psihologija iskusstva* [The Psychology of the Art], Moscow: Iskusstvo.
- Wilson C. (1973) *The Occult*, London: Mayflower Books.
- Winkler J. J., Zeitlin F. I. (1990) *Nothing to Do with Dionisos?: Athenian Drama in Its Social Context*, Princeton: Princeton University Press.